



Н. А.  
ПОЛЕВОЙ

# Николай Алексеевич Полевой

## Живописец

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=663625](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=663625)*

*Избранные произведения и письма: Художественная литература; Л.:  
1986*

### Аннотация

«...Итак, я решился сам ехать в Петербург. Уже все было готово для моей поездки, когда пришел ко мне бывший уездный казначей нашего города, добрый, почтенный старик. Прослужив беспорочно лет сорок, он жил на покое, с небольшою пенсией и большим семейством, довольный тихим своим жребием...»

# Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	54

# Николай Алексеевич Полевой Живописец<sup>1</sup>

*Ich kenn ihn lang, er ist so leicht zu kennen  
Und ist zu stolz, sich zu verbergen. Bald  
Versinkt er in sich selbst, als ware ganz  
Die Welt in seinem Busen, er sich ganz  
In seiner Welt genug, und alles rings  
Umher verschwindet ihm. Er laßt es gehn,  
Laßt's fallen, stößt's hinweg und ruht in sich —  
Auf einmal, wie ein unbemerkter Funke  
Die Mine zündet, sei es Freude, Leid,  
Zorn oder Grille, heftig bricht er aus:  
Dann will er alles fassen, alles halten,  
Dann soll geschehn, was er sich denken mag,  
In einem Augenblicke soll entstehn,  
Was jahrelang bereitet werden sollte,  
In einem Augenblick gehoben sein,  
Was Müh' kaum in Jahren lösen konnte.  
Er fordert das Unmögliche von sich,  
Damit er es von andern fordern dürfte.  
Die letzten Enden aller Dinge will  
Sein Geist zusammenfassen; das gelingt  
Kaum einem unter Millionen Menschen,  
Und er ist nicht der Mann: er fällt zuletzt,  
Und nichts gebessert, in sich selbst zurück...<sup>2</sup>*

*Гете. Торквато Тасс (Его давно я знаю)*

# I

*Я жизни сей не раб презренный.<sup>3</sup>  
Я проводник того огня,  
Который движет всей вселенной  
И с неба льется на меня!*

**Вельтман**

...Итак, я решился сам ехать в Петербург. Уже все было готово для моей поездки, когда пришел ко мне бывший уездный казначей нашего города, добрый, почтенный старик. Прослужив беспорочно лет сорок, он жил на покое, с небольшою пенсией и большим семейством, довольный тихим своим жребием. Из детей его два сына служили в нашем городе и считались деловыми и честными чиновниками; один из них был уже сам отец семейства. В губернских городах обыкновенно все знакомы между собою, и почти никто не дружен. Я уважал нашего старого казначея; в праздники мы платили друг другу визиты; иногда и в будни бывал я у него, а он у меня. Тем ограничивались все наши отношения. Мы обыкновенно и всего чаще говаривали о погоде, о новостях. Старик любил читать газеты, пить чай в дружеском кругу, любил выкурить трубку табаку и потолковать о переменах министров и государственных чиновников. Он

---

<sup>3</sup> Я жизни сей не раб презренный... – Источник цитаты не обнаружен. Вельтман Александр Фомич (1800—1870) – поэт, прозаик, сотрудник МТ.

служил некогда при графе Безбородко<sup>4</sup>: это было бесконечным предметом для его рассказов. В течение тридцатилетней жизни и службы в провинции старик не мог отвыкнуть от всегдашней поговорки своей: «У нас в Петербурге – у нашего графа Александра Андреевича...» «*Мы петербургские*», – прибавлял он с особенным удовольствием.

– Я зашел к вам на минутку, – сказал он мне, – и нимало не задержу вас.

– Всегда рад вам сердечно.

– Рады, я уверен; но при отъезде бывает много хлопот – не буду мешать и расскажу коротко, в чем дело: сделайте мне большое одолжение, если только это не отяготит вас.

– Прошу вас только сказать мне.

– Все дело, изволите видеть, в том, что вот письмо к младшему сыну моему, живущему в Санкт-Петербурге.

– Я и не знал, что у вас сын служит в Петербурге.

– Ах! если бы *служил*, я и не утруждал бы вас. А то, бог знает, как вам и сказать...

– Разве вы им недовольны... если только этот вопрос не нескромность с моей стороны.

– Помилуйте! Любя и уважая вас как человека *солидного и степенного*, я именно *вас* хотел просить, чтобы вы узнали в Петербурге поподробнее о моем сыне. В прошлом го-

---

<sup>4</sup> *Безбородко* Александр Андреевич (1747—1799) – русский государственный, деятель, с 1775 г. – секретарь Екатерины II, с 1783 г. – фактический руководитель русской внешней политики, с 1797 г. – канцлер.

ду я просил было об этом нашего почтенного г-на прокурора, когда он ездил в Петербург; но ему было некогда. Он послал письмо мое с своим человеком и велел сынишку моему прийти к себе, а тот не пришел. Ныне ездил в Петербург почтеннейший г-н почтмейстер, но забыл письмо мое дома, не знал адреса и не видал моего сына. Впрочем, всякий едет в Петербург с своими хлопотами. Ведь у нас в Петербурге бездельников нет. Если уже кому-нибудь и в самом деле нечего делать, – ну, так по крайней мере показывает, что будто делает что-нибудь. А с этим соображается всякий, кто приезжает в Петербург.

Признаюсь, как ни уважал я старого казначея, но поручение его было мне неприятно. Я думал, что он заставит меня искать по Петербургу какого-нибудь молодого повесу, отставного корнета или коллежского секретаря<sup>5</sup>, шалуна, поручит мне усовещивать его, приводить на путь правый...

Может быть, старик заметил неприятное выражение на лице моем. Он было опустил уже руку в карман свой, чтобы вынуть письмо, и вдруг остановился.

– Впрочем, если вам некогда будет заняться моею просьбою, – сказал он, – то будьте только откровенны, я не обременю вас...

– О, нет, нет! – отвечал я. – Пожалуйте мне ваше письмо. Вы знаете, что я должен прожить в Петербурге долго, и времени свободного будет у меня немало.

---

<sup>5</sup> Коллежский секретарь – гражданский чин девятого класса.

– Ах, сударь! не будучи сами отцом, вы не можете судить о чувстве родительского сердца, когда отец ничего не знает об участии своего сына! – Слезы навернулись на глазах старика. – Двое детей со мною, и, нечего сказать, – утеха моя на старости, кормильцы моей дряхлости; а ведь я сам чувствую, что люблю моего ветреника петербургского более их... – Старик вынул из кармана клетчатый бумажный платок и утер глаза. – Вот уже более года от него нет даже писем!

Мне стало совестно. Мгновенный порыв эгоизма рассеялся, когда я увидел отца, плачущего о милом, может быть, погибшем сыне.

– Пожалуйста мне ваше письмо, – сказал я с жаром, – и верьте, что вы получите от меня верные сведения о сыне вашем. Если я могу чем-нибудь быть ему полезным, то готов употребить все силы.

– Благодарю вас. Вы утешаете меня словами вашими. Но я прошу только одного: откровенности вашей. Повидайтесь с сыном моим, поговорите с ним, наблюдайте за ним и потом скажите мне без закрывки и добро и худо. Но помощи вашей никакой не надобно. Я знаю моего ветреника: он будет умирать с голода, а пособия не примет ни от кого; при всем добром сердце своем он не послушается ничьих советов. Если бы только знал я, что ему есть нужда, то последнее послал бы к нему. Но это будет бесполезно: он отошлет назад. Да я же и не ведаю: где он и что он!

– Вы изумляете меня. Если он так благороден и горд, то



почему же вы беспокоитесь о нем? Из первых слов ваших можно б было заключить, что сын ваш какой-нибудь шалун...

— О нет, сударь, но... — Старик вздохнул. — Боюсь, что ему худо жить на белом свете! У нас в Петербурге не житье людям, подобным Аркадию моему...

— Но для чего же вы отправили его в Петербург?

— Его вырвали у меня — он сам вырвался у меня! Бог судья покойнику, его превосходительству Григорью Григорьевичу: сбил с толку моего сынишка и меня!

— Стало быть, сын ваш уже давно находится в Петербурге? Григорий Григорьевич был у нас губернатором лет десять тому.

— Нет! Пятнадцать минет о Петрове дне, как он уехал, и вот уже пять лет, как он изволил скончаться. Можно ли было не послушаться! Мы с его превосходительство были, изволи-те видеть, сослуживцы и вместе служили у нашего графа. Ему повезло: умен был; я не пошел в гору: уехал сюда, женился. Но когда потом его превосходительство изволил приехать к нам губернатором, — ведь не забыл, сударь, он старого сослуживца! Бывало, всегда так ко мне милостив: всегда изволит говорить со мною, когда приедем, бывало, к нему в большой праздник. Да, сударь, дай бог ему царство небесное! не гордился он со мною! И г-н вице-губернатор стоит да щиплет плюмажик, и г-н прокурор руки *по швам*, а меня за руку и начнет: «Что, брат Иван Перфильевич? Как пожива-

ешь? Ну, что у тебя в казначействе? Не развелось ли много крыс?» Зависти-то сколько было, когда он взял к себе моего Аркадия! А вот люди не знают, чему завидуют!

— Но, вероятно, Григорий Григорьевич видел необыкновенные способности вашего сына и хотел доставить ему хорошее место?

— Да ведь он и не думал определить его в службу.

— Как? Что это значит? Для чего же он взял его с собою?

— И сам растолковать вам хорошенько не умею! У моего Аркадия совсем не было отличных способностей, грамоте учился он плохо, нрава с малолетства был пречудного: нелюдим и ветреник, шалун и плакса... Одно., только и было его любимое занятие: писать картинки. Славно писал он их, нигде не учась: сам, сударь, выучился! Бог открыл ему дарование. Его превосходительство полюбил Аркадия; сначала только призывал его к себе; потом он по неделе проживал у него иногда на даче, а наконец всегда бывал с ним, прогуливаются, бывало, вместе по лесам, по полям. Я не узнавал моего Аркадия: он сделался тихий, смирный такой. Наконец его превосходительство потребовал у меня Аркадия с собою, когда изволил быть переведенным в Петербург. Я было сначала не соглашался. Как теперь помню, призвал меня к себе его превосходительство; Аркадий стоит печальный у окна, а его превосходительство, в первый раз, начал со мной говорить не шутя и так, как никогда еще не говаривал. Я ничего из слов его не понимал. «Может быть, сын твой переживет

тебя, и меня, и весь твой город, и век наш! – говорил он. – Ты хочешь сделать из него подьячего и не понимаешь божественной силы, какая заключена в душе его!» Ну, и прочее, и прочее, что я со страха едва расслушал. Глаза его превосходительства были страшны. Я видел, что он рассержен, – нечего сказать – испугался! Аркадий уехал с ним и поселился в Петербурге. Право, уж не умею сказать, чему он все это время учился. Да вот, сударь, что значат людские намерения! Его превосходительство сказал мне, что обеспечит будущую судьбу моего сына, а это были только пустые слова. Его превосходительство скоропостижно скончался. Я знаю, что Аркадий был его другом и любимцем до самой смерти, что Григорий Григорьевич определил его в Главное училище живописи<sup>6</sup>. Но как бы это ни было, а его превосходительство ничего не оставил моему сыну. Я писал к Аркадию об этом, и, позвольте, – вот со мною ответ Аркадия. Посудите, что мне с ним делать?

Слова старика возбуждали во мне сильное любопытство. Я взял письмо. Оно было написано связным, но смелым округлым почерком и прямо набело, ибо несколько помарок

---

<sup>6</sup> ...определил его в Главное училище живописи. – При публикации в МТ это место сопровождалось следующим примечанием автора: «Надобно ли сказывать здесь читателям, что, поелику вся сия повесть есть сказка, выдумка, то и все, что говорит в ней сочинитель, г-н Мамаев, об учении и училищах, есть выдумка или сущий вздор. Следовательно, его слов ни к какому петербургскому училищу относить не должно. *Примечание для людей, любящих примечания*» (МТ. – 1833. – Т. 51. – С 82).

показывали, что его не приготавливали на досуге, что оно вылилось на бумагу прямо из сердца. Вот оно, слово в слово; я выпросил его у старика:

«Последнее письмо ваше, любезный родитель, опечалило меня, а приписка братьев еще более. Простите, если буду с вами откровенен. Вы изволите спрашивать, почему, уведомляя вас о моем несчастье, кончине моего благодетеля, я ничего не сказал о том, исполнил ли он свое слово и наградил ли меня чем-нибудь в своей духовной? К этому присовокупляете вы сожаление и поставляете бога судьей, если благодетель мой не исполнил данного вам слова. Слова ваши растерзали мое сердце. Если бы вы не были моим отцом, отцом всегда для меня незабвенным, обожаемым мною, я ничего не отвечал бы вам, и – клянусь богом – не только никогда не писал бы я к вам более, но никогда и не встретился бы с человеком, написавшим мне письмо, подобное вашему! На коленях прошу прощения вашего, если слова мои покажутся вам дерзки. Но я со слезами молю бога простить несправедливый ропот ваш и то оскорбление, какое нанесли вы ропотом вашим священной для меня тени моего благодетеля! Правда, он мне не оставил ничего по духовной, если это угодно вам знать, – ничего потому, что не думал о своей духовной. Кончина его была неожиданная. Но неужели тогда только был бы он моим истинным благодетелем, когда дал бы мне кусок *наущного хлеба*? Неужели только деньгами мог он оказать мне благодеяния? Не знаю, чем не обязан я ему; не знаю, что

был бы я, если бы провидение не привело меня при начале жизни моей к этому спасителю, ангелу-хранителю моему! Если я еще живу, если я чувствую бытие мое, всем этим ему одному я обязан – ему и никому более! Еще раз простите мне, любезный родитель! Пишу, что сказывает мне сердце мое; не смею перечитать написанного, но не в силах писать к вам иначе. Может быть, мы не пойдем друг друга, но я знаю добродетельную душу вашу, знаю ваше чистое, святое сердце, и к ним отношусь я. Прошу вас обо мне не беспокоиться. Руки и голова у меня здоровы, и я не умру с голода. И в этом случае невольно обращаюсь я к приписке братьев моих. Им угодно пенять, что я не пишу к ним ничего о своих обстоятельствах, что я делаю и где я нахожусь. Им угодно осуждать меня в какой-то беспечности, в какой-то ветрености. Желаю им счастья и только одно напому: просил ли я у них хотя какого-нибудь пособия с тех пор, как расстался с ними? Смею уверить их, что никогда и вперед в тягость им не буду. Горек хлеб чужой, но от родного, который напоминает нам, что нас кормит, – это не полынь, а яд! Правда, что доныне я еще не мог быть полезным вам, любезный родитель: это сокрушает меня, и одно из пламенных желаний моих есть то, чтобы бог привел меня некогда успокоить старость вашу. Братья мои обладают уже этим счастьем, и неужели не понимают они цены его? Осмеливаюсь думать и надеяться, что бог пособит мне некогда быть вам полезным – может быть, более их. До тех пор желаю, чтобы другие дети

ваши превзошли меня в горячей молитве, какую воссылаю я к богу за вашу драгоценную жизнь, в любви и почтении, какими преисполнена к вам душа моя».

– Ну вот, сударь, такие-то письма присылал всегда ко мне мой Аркадий! Что прикажете мне думать о нем и что с ним делать?

– Ничего, почтенный человек, ничего! Можете быть уверены, что ваш Аркадий есть чистая, светлая душа...

– О душе-то я и не спорю; да голова-то у него... – Старик провел указательным пальцем по голове своей. – И вот уже прошло с год, как я вам докладывал, он вовсе ко мне не пишет. Притом чистая душа не помешает быть ветреником и умереть с голода, если мы будем только, знаете, летать по поднебесью и забывать о земле. Боюсь, сударь, я: не скрывают ли чего-нибудь от меня? Жив ли он? Не знаю и того, что теперь делает он в Петербурге? В последнем письме писал он, что хочет ехать за границу и поедет на счет Главного училища живописи... Об таких людях говаривал наш граф Александр Андреевич...

– Успокойтесь: верьте, что я увижусь с сыном вашим и обо всем вас уведомя, – возразил я с невольным чувством. – Но на письме вашем нет адреса?

Старик опустил голову, помолчал и сказал потом печально:

– Я не знаю, где теперь живет мой Аркадий! С тех пор, как его исключили из Главного училища живописи...

– *Выключили!* Давно ли?

– Да будет с полгода, сударь, как говорил мне об этом один проезжавший здесь чиновник, который знает всех главных учителей в училище живописи, – выключили за ссоры, за беспокойный характер! Вот видите, что все это должно тревожить меня как отца, нежно любящего! Ах, ради бога, сударь! Вы не сделаете так, как г-н прокурор и г-н почтмейстер наш! Узнать об Аркадии всего вернее можно в доме г-на N. N., человека почтенного, коллежского советника и кавалера, моего старого сослуживца, к которому всегда ходит Аркадий.

Мы расстались. Разговор с старым казначеем растрогал меня. Мне нетерпеливо захотелось узнать его странного сына, в котором я не мог дать сам себе отчета. Признаюсь: молодой человек, бывший любимцем умного и добродетельного чудака, несколько времени находившегося губернатором в нашем городе, и писавший после смерти его письмо, читанное мною, не мог быть ничтожным ветреником или шулуном, не отличенным каким-нибудь высоким дарованием. Но если, по русскому обычаю, он как художник подвергался какой-нибудь несчастной слабости или дарования его затмевались примесью чего-либо недостойного высоких дарований? Если он был нечто *недоконченное*, с душою великою, но лишенною средств достигнуть своего назначения, – создание малодушное, робкое, безрассудное? Словом, мне, по крайней мере, весьма любопытно было узнать Аркадия.

«Только *любопытно?*» – скажете вы. Что ж делать! В мои годы перестают уже *любить* психологические странности, любить только за то одно, что они странны. Это чувство проходит с годами. Невольно делаешься эгоистом в сорок лет, отдружившись, отлюбивши на свой участок. Притом жизнь в провинции бывает такая положительная и приводит в такое оцепенение чувства души... Общее поверье, что в сорок лет надобно быть *степенным* и *солидным*, как называл меня старый казначей и каким я почитал себя, – все это холодило мое участие и превращало его – признаюсь – только в простое любопытство, но сильное и живое.

Дня через два по приезде моем в Петербург я увидел, что мне придется долго, год или более, прожить в Северной Пальмире. (Так называют Петербург, хотя не понимаю почему, ибо пески Сирии столько же не походят на болота Ингерманландии<sup>7</sup>, сколько развалины Пальмиры<sup>8</sup> на великолепный Петербург.) Мысль об Аркадии мелькнула в голове моей. Воспоминание о разговоре с его отцом и письме, читанном мною, во всю дорогу не оставляло меня. Прежде всего отправился я к г-ну N. N.

На пороге небольшого опрятного дома в грязной Колокольной улице встретился со мною человек, сухощавый, в

---

<sup>7</sup> *Ингерманландия* – одно из названий территории по берегам Невы и юго-западному Приладожью.

<sup>8</sup> *Пальмира* – древний город на северо-востоке Сирии, славился своим великолепием. *Северная Пальмира* – образное название Петербурга.



вицмундире, с Аннинским крестом на шее, с Владимирским в петлице. Спрашиваю у него о г-не N. N.

– Это я сам, – отвечал мне незнакомец. – Что вам угодно?

– Я желал бы узнать, милостивый государь, где живет некто Аркадий...

Лицо г-на N. N. покосилось.

– Этого я не могу сказать, милостивый государь, – угрюмо проворчал г-н N. N.

– Но мне говорил отец его, что вы с ним хорошо знакомы.

– Отец его говорил вам несправедливо, милостивый государь. – Я, точно, позволял этому молодому человеку посещать дом мой, и Аркадий, точно, бывал у меня прежде, но уже более года я с ним не вижусь. – Г-н N. N. приподнял шляпу и хотел идти.

– По крайней мере, позвольте мне узнать об этом молодом человеке.

– Извините, я спешу к должности и мне некогда. Спросите о нем в Главном училище живописи. – Г-н N. N. сухо поклонился и ушел.

«Начало плохое», – подумал я. Отзыв его об Аркадии не рекомендует молодого человека. Мы так привыкли к *рекомендации*, этому адресному билету общества, что прежде всего по ней начинаем судить о человеке, не думая, кто подписал его адресный билет. Итак, Аркадий, верно, какой-нибудь ветреник и шалун? «Но этой ли сухой роже поверю я, хотя она принадлежит коллежскому советнику и кавалеру!

Знаю я вас, господа!» – сказал я, с досадою стуча в камни мостовой моею палкой. Странное дело: свидание с г-м Н. Н., напротив, усилило желание мое узнать Аркадия! «Но где искать его?» – подумал я и послал служителя спрашивать в Главном училище живописи. Он не добился толку. Старый учитель тамошний качал головою, слыша вопросы об Аркадии. Он начал расспрашивать служителя обо мне, узнал, что я приезжий помещик, и проч., и проч.

– На что же твоему барину этого молодца? – спросил он наконец. – Если заказать портрет, так вот тебе, братец, лучше адрес моего отличного ученика Чистомазова.

– Нет, сударь, не портрет заказать, а есть у барина к г-ну Аркадию письма от отца его.

– От отца? Ну, не порадуется твой барин новому знакомству! Не знаю, братец, не знаю, где он живет. Да и никто этого у нас не знает. Он переменяет по три квартиры в год, а иногда и более.

По обыкновению русских слуг мой служитель передал мне разговор слово в слово, с прибавлением «дескать» и «мол». «Плохо! – подумал я. – И тут его не любят!» В тот же день отправился я в Эрмитаж. Вдруг мне пришлось там в голову спросить об Аркадии у одного старика-живописца, который, смотря в большие очки, с помощью молодого ученика своего списывал одну из огромных картин Каналетти.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Каналетти* (Каналетто) Джованни Антонио (1697—1768) – итальянский живописец, писал преимущественно венецианские виды.

– Вот, сударь, в десятый раз списываю эту картину, – сказал мне старик, когда я начал с ним разговор об его работе, – в десятый!

– Может быть, вы находите в ней какое-нибудь высокое достоинство, судите о ней как опытный художник и стараетесь особенно изучить ее?

– О нет! – в замешательстве отвечал старик. – Я, конечно, сударь, старый художник, понимаю красоты этой картины и две или три копии сделал с нее, в самом деле, совершенные. Но эту копию делаю я, как простой мазилка.

– Как это?

– А вот видите – не прикажете ли табачку? – Он открыл свою золотую табакерку. – Славный художник, известный наш декоратёр Бестнаго, говаривал: «Злава злавой; а теньга, теньгой!» Просто делаю, сударь, я эту копию наскоро, для любителя одного, которому все равно, худо ли, хорошо ли сделано. В неделю и то вот этот молодой человек перемажет, а я поправлю и возьму добрые деньги. Видите: я прославился копиями с Каналетти, и мне их всегда заказывают. А между тем, этот молодец учится, привыкает, а со временем сам станет копировать не хуже моего!

Молодой ученик покраснел и отворотился. Старик не замечал этого и продолжал:

– Я, сударь, верю тому, что было напечатано некогда в «Пантеоне иностранной словесности»<sup>10</sup>, именно словам ве-

---

<sup>10</sup> «Пантеон иностранной словесности» – журнал Н. М. Карамзина, издан в

ликого Бюффона<sup>11</sup>: гений есть терпение в высочайшей степени. Истинно так! И это стараюсь я внушить ученикам своим. Про меня самого говаривали смолода, что будто у меня вовсе нет дарования. Но я, сударь, дарование свое высидел, как курица цыпленка.

– Вы, конечно, член Главного училища живописи?

– К вашим услугам: я там старший учитель по пейзажной живописи. У нас ведь все разделено на разряды, и кому что определено, тот тем и занимается, а в другую часть не забегает.

– Не был ли у вас учеником Аркадий...?

– Воспитанник покойного генерала \*\*\*? Как же, сударь, был!

– Скажите, где он теперь? Мне любопытно знать о нем.

– Вот уж этого порядком сказать вам не могу. Он лет с пять, думаю, как вовсе перестал учиться у нас. При сильном покровительстве своего генерала и прежде почти всегда находился он в отпуску и только числился при училище.

– Я слышал, что недавно его совсем исключили?

– Нет! Он самовольно вышел, а потому аттестата и звания от нас не получил. Вы его знали?

– Нет!

– О, сударь, залетная голова! мальчик не дурак! То есть, я

---

1798 г., переиздание 1818 г.

<sup>11</sup> *Бюффон* Жорж Луи Леклерк (1707—1788) – французский естествоиспытатель.

вам скажу, если б этот человек был поумнее, так из него вышел бы второй Лосенко<sup>12</sup> в русской живописи. Но он сбился с толку, и мы, признаться, чтобы его опасный пример не испортил других, старались понемногу выживать его.

— А не потому, чтобы у него дарования не было?

— Нет! Дарование у него было бы, потому что дарование развивается, милостивый государь, наукою, и собственно наука у нашей братии художников есть истинное дарование. Живописца тогда узнаете, будет ли он хороший живописец, когда он кончил курс живописи. Вот, например, и в стихотворстве: как узнать дарование, если стихотворец не выучился стихи писать и хоть чего-нибудь не написал — поэмы, что ли, ну, или там трагедии какой, или комедии.

— Из слов ваших можно заметить, что Аркадий, если и имеет дарования, то характер у него дурной.

— Престранный, сударь, у него характер — ни добрый, ни худой. Он скромн, но упрямец, тихий, но пребешеный! Никогда, бывало, ссоры не заводит, а участник во всякой ссоре. Молчалив, а заговорит, так заслушаетесь. То вдруг учится прилежно, первый — и досадует; то совсем не учится, последний — и радехонек! Главное, я полагаю, он был в дурных руках, у этого генерала \*\*\*, который избаловал, испортил молодого человека. Этот генерал \*\*\* был, сударь, умница, но чудаки великий...

---

<sup>12</sup> Лосенка Антон Павлович (1737—1773) — русский живописец и рисовальщик, представитель классицизма.

Тут какая-то толстая фигура перервала наш разговор. Старик пошел с нею по зале и начал разговаривать заботливо. Ученик его бросил кисть, оборотился ко мне и сказал:

– Ах, сударь! Если вы не знаете Аркадия, не слушайте, что говорят о нем! Аркадий пример доброты, ума и дарования. Мог ли он ужиться с людьми, которых образчик вы сейчас видели!

Глаза ученика сверкали. Боясь ободрить этого молодого человека в негодовании, которое столь неосторожно изъяслял он против учителей человеку неизвестному, я сказал ему хладнокровно:

– Хвалю, что вы заступаетесь за Аркадия, но не советую никогда соединять с этим нескромности насчет ваших учителей и наставников.

Бедный молодой человек испугался.

– Ах, сударь, – сказал он робко, – не подумайте, чтобы я хотел осуждать моего почтенного наставника; но зачем же он сам несправедлив к такому человеку, каков Аркадий? Это самая высокая добродетель, это божественное дарование...

– Вы знакомы с ним?

– Нет! Несмотря на ласковость Аркадия, я не смею ходить к нему, боясь рассердить моего учителя. Он мне строго запрещает; но я знаю, где живет он.

– Скажите же мне.

Я поспешно записал адрес Аркадия; старик учитель подходил к нам; ученик схватил кисть и начал работать прилеж-

но. Старик казался рассерженным.

– Вот, брат Ваня! Мы с тобою и в дураках, – сказал он, как будто забывши, что я тут находился, – в чистых дураках! Этого проклятого Каналетти мы с тобою мажем, а ведь Палитрин-то схватил получше заказе: ведь ему отдали скопировать для графа «Капуцинский монастырь» Гранета!<sup>13</sup>

С досадой ударил старик по своей табакерке. Я ушел. К Аркадию влекло меня теперь не одно любопытство – эгоизм мой уступил место участию.

На другой день явился я в квартире Аркадия. Он жил тогда на Мойке, в третьем этаже огромного дома. Звоню, мне отворяет двери старик слуга.

– У себя ли Аркадий Иванович? – спросил я старика.

– Нет; он ушел со двора, – отвечал мне старик.

– Очень жалею. Когда могу я застать его дома?

– Бог знает, сударь. Иногда он по целым неделям бывает дома, но никого не принимает, а иногда по целым неделям его нет дома с утра до вечера. Если вам угодно сказать ваше имя, так я доложу ему, когда вы изволите пожаловать.

– Скажи ему, любезный друг, что приходил Мамаев, приезжий из города N. N., и приносил к нему письмо от его бабушки.

– Как, сударь? – вскричал с радостию старик. – Вы при-

---

<sup>13</sup> Гранет (Гране) Франсуа Мариус (1775—1849) – французский художник, в 1821 г. преподнес в дар императору Александру I свою картину «Внутренность монастыря капуцинов в Риме».

ехали из N. N.? Как же обрадуется Аркадий Иванович! Он так давно не получал писем от своего батюшки! Ах, сударь! пожалуйста завтра! Я ему скажу, и он верно будет ждать вас. Или не прикажете ли записать, где вы остановились? Он тотчас явится к вам.

– Не нужно. Вот письмо; ты можешь отдать его своему барину, а я завтра приду сам непременно.

– Ах, сударь! как вы его обрадуете! – продолжал словоохотный старик. – Здоров ли Иван Перфильевич?

Я видел, что старик нарочно заводит речи, желая разговариваться со мною. Я не люблю разговоров со слугами и особенно выведываний у слуг. Но теперь я не боялся узнать что-нибудь худое об Аркадии и поддерживал речь со стариком. Старик смотрел таким честным, добрым, он с таким восторгом упоминал о своем господине.

– Скажи, любезный, что я крайне сожалею, не заставши Аркадия Ивановича, и очень желаю с ним короче познакомиться.

– Это не так бы легко было сделать, – сказал старик, улыбаясь, – если бы вы не приехали из N. N. и не привезли письма от батюшки его. Барин мой небольшой охотник до гостей, если только они не заказывают ему работы.

– Вероятно, он очень занят?

– Да, – сказал старик, – он, сударь, теперь беспрестанно портреты списывает, а картинами не занимается, хотя прежде был большой охотник и только их и писал. – Тут как



будто нечаянная мысль мелькнула в голове его. — Пожалуйте сюда, сударь, посмотрите: вот его рабочая комната. Не угодно ли вам взглянуть, как славно пишет Аркадий Иванович? — сказал старик.

Мне уже так хотелось поближе узнать Аркадия, что я решился взглянуть на занятия его.

Из передней мы вошли в комнату, где стоял длинный турецкий диван, покрытый старым ситцем; дорогой стол красного дерева придвинут был к этому дивану; полдюжины дрянных стульев, в углу богатые старинные вольтеровские кресла и этот стол составляли странные противоположности. В другом углу находилось еще дорогое старинное бюро. Я оглядывался кругом.

— Это, сударь, у нас гостиная, — сказал старик горделиво. — Это бюро, эти кресла и этот стол выпросил себе Аркадий Иванович от наследников покойного моего барина, его высокопревосходительства Григория Григорьевича. В этих креслах старый барин всегда изволил кушать кофе после обеда, а на этом бюро он писывал. Слезы навернулись на глазах старика.

— Да, сударь, много добрых дел было придумано за этим бюро... Аркадий Иванович говорит мне всегда: «Семен Иванович, — он, сударь, так меня называет, — кто напишет на этом бюро хоть одну строчку и не сделается добр, того бог накажет!» А в этих креслах Аркадий Иванович сидит, когда ему грустно.

– Разве ему бывает и грустно иногда?

– Случается, сударь: человек бо есть.

– Ты доволен ли им?

Старик с удивлением посмотрел на меня, как будто говоря: можно ли об этом спрашивать?

– Он вырос на моих глазах, у старого моего барина, сударь, – отвечал старик, – и я не хотел с ним расстаться, хоть я и вольный человек. Вот, пожалуйста сюда, – сказал он, отворяя дверь направо.

Я вошел в большую комнату. Тут на стенах висело множество эстампов без рам, запыленных, изманных; на полу разбросаны были свертки бумаг, палитры, книги; на большом столе лежало несколько дорогих собраний эстампов. На окошках стояло несколько прелестных горшков с цветами. Окно, подле которого работал Аркадий, было закрыто дорогим транспарантом. На пюпитре его лежал портрет немолодой женщины, глупого вида, почти отделанный; сначала я не рассмотрел ее головного убора и удивился, взглядевшись: это были ослиные уши!

– Вот, сударь, портрет генеральши А. А., – сказал мне старик. – Говорят, что он очень похож, и генеральша от него в восторге.

– Я не вижу других работ твоего господина, – сказал я старику.

– А вот их целая куча, – отвечал он, указывая в угол, на множество холстин, натянутых на рамы, большие и малень-

кие, сброшенные беспорядочно одна на другую. — Он многое начал и ничего еще не успевает окончить. Вот еще несколько портретов; вот его эскизы и картоны. — Старик указал на несколько огромных картонов.

Я мимоходом взглянул на все и обратил внимание на большую картину, тщательно закрытую белым полотном.

— Что это? — спросил я старика.

— Картина, которую Аркадий Иванович не велит мне трогать. Я не смею показать ее вам. А вот, сударь, взгляните, какая жалость! — Старик указал на другую большую картину. Это была огромная холстина в золотых рамах, изрезанная ножом и закрашенная красками так, что нельзя было рассмотреть, что было на ней прежде изображено. — Аркадий Иванович года два писал ее, кончил, целую неделю любовался ею и вдруг задумался, взял кисть, замарал и потом сам изрезал ее ножом.

Что сказать мне вообще о мастерской Аркадия? Я видел какое-то странное смешение высокого искусства, шалостей художника, роскоши, беспорядка. Тут стояло несколько золотых богатых рам, без картин; здесь было брошено несколько книг, одна на другую, полузакрытых, в пыли; загнутые листы и заметки показывали, что их читали внимательно и потом бросили, не окончив чтения. Колоссальное изображение Кельнского собора (известный эстамп) висело на стене. Подле него был портрет Дюрера, потом Мюллеров<sup>14</sup> эстамп Ра-

---

<sup>14</sup> *Мюллер* Фридрих (1749—1825) — немецкий поэт, художник и гравер.

фаэлевой Мадонны, перечеркнутый красным карандашом. Внизу было подписано рукою Аркадия: «Ты был достоин сумасшествия, бедный пачкун! Одинакое вдохновение не является в мире дважды. Твори свое!» Стены все были исписаны углем и мелом. В этих очерках видно было фантастическое своеволие. Это были изображения готических зданий, жоаннотовских уродов<sup>15</sup>, гогартевских карикатур<sup>16</sup>. Но меня поразило милое женское личико, которое только что было начато в небольшом размере. И вот что было странно: это личико повторялось несколько раз, в разных размерах и везде только что очеркнутое! Оно было начерчено углем на стене в нескольких местах, нарисовано карандашом на картонах, даже нацарапано ножом на столе. Видно было, что это личико невольно являлось под рукою Аркадия, что оно преследовало его – и везде было оно очеркнуто так отчетисто, верно, истинно, что я узнал бы это личико из тысячи.

Я не смел ничего рассматривать подробно. Мне казалось святотатством перебирать картины, поднимать с них занавески или пересматривать картоны и эскизы художника, когда он сам не дал мне на это права. Мне даже стало совестно, что, пользуясь слабостью и усердием старика слуги, я вошел в мастерскую Аркадия. Поспешно вышел я из этой комнаты

---

<sup>15</sup> ...жоаннотовских уродов... – Вероятно, имеются в виду работы французского художника романтического направления Тони Жоанно (1803—1852).

<sup>16</sup> ...гогартевских карикатур. – Речь идет о сатирических произведениях английского живописца и графика Уильяма Хогарта (1697—1764).

и торопился уйти, говоря только «да, да», когда слуга шел за мною и повторял просьбы *пожаловать завтра* и уверения, что *Аркадий Иванович будет мне очень рад*.

Кто из нас не бывал молод; следовательно, кто не читывал романов, кто сам не бывал героем романа! Всякому свое, иной бывает героем романа Поль-де-Кокова<sup>17</sup>, иной лафонтеновского<sup>18</sup>, иной дюканжевского<sup>19</sup>, иной бальзаковского, иной жаненовского<sup>20</sup> — а все-таки какого-нибудь романа! Идя от Аркадия и соображая все виденное и слышанное мною, мне казалось, что я начал читать Гофманова «Кота Мура»<sup>21</sup>. Воображение живо представило мне в неизвестном Аркадии образ художника, провидением к тому назначенного. Мне подумалось даже, что без знакомства с Аркадием в романе жизни моей недоставало бы весьма любопытной главы под

---

<sup>17</sup> ...иной бывает героем романа Поль-де-Кокова... — Для популярных в свое время романов французского писателя Поля Шарля де Кока (1793—1871) характерны запутанная интрига, комические похождения героев-повес, пикантные подробности быта.

<sup>18</sup> ...иной лафонтеновского... — см. примеч. к с. 144.

<sup>19</sup> ...иной дюканжевского... — Французский драматург и романист Виктор Дюканж (1783—1833) был наиболее известен своей мелодрамой «Тридцать лет, или Жизнь игрока» (1827).

<sup>20</sup> ...иной жаненовского... — Речь идет о французском писателе и критике Жюле Габриеле Жанене (1804—1874), представителе так называемой «неистовой словесности»; его первые романы горячо обсуждались в русской печати начала 1830-х гг.

<sup>21</sup> ...начал читать Гофманова «Кота Мура». — Центральным героем романа Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра» (1820—1822) является музыкант Иоганнес Крейслер.

названием «Идеал художника». Не знаю с чего, мне казалось, что в Аркадии увижу я дополнение к человеку, которое мы называем – *художник*, дополнение, созданное самим человеком, странное, очаровательное, своенравное, блестящее, недовольное собою, нетерпимое или обожаемое другими, рожденное от соединения необыкновенных случайностей. То, что узнал я об Аркадии от отца его, от слуги, от учителей Главного училища живописи, от ученика, от г. N. N., – все это – неприязнь и ненависть одних, любовь и восторг других – делало для меня знакомство с Аркадием одним из необыкновенных событий в моей жизни. Мне хотелось теперь к опытам и наблюдениям моим прибавить любопытные опыты над душою истинного художника. Не всякий из нас согласится разменяться местами с тем, чему удивляются, что изучают люди; но все мы любим посмотреть на необыкновенное, странное в мире и в обществе. Так, никто не пойдет жить на краю швейцарского ледника или на скалах Норд-Капа<sup>22</sup>; но кто же отречется взглянуть на сии дивные явления природы и рассмотреть их внимательно? Отказавшись от практической деятельности жизни, в провинциальном уединении моем я привык к теоретическим наблюдениям. В Аркадии думал я увидеть *аналитическую* поверку моих теорий изящного. Я создал его предварительно в моем воображении. Я вообразил себе Аркадия с греческим ли-

---

<sup>22</sup> *Норд-Кап* (Нордкап) – гористый мыс на норвежском острове Магерё; порой рассматривался как самый северный пункт Европы.

цом Гете или германским профилем Шиллера, страждущего, гонимого, потерявшего в генерале \*\*\* друга, который развил его высокую, пламенную душу: И теперь этот человек с неба дружбы упал в существенность, богатую идеальными отблесками, но бедную во всех других отношениях. В беспорядке убранства Аркадиевых комнат, в смешении излишеств и недостатков жизни, во всем, даже в картинах, сброшенных в кучу и покрытых пылью, и в этой картине, которую неделю любовался он и которую потом сам он изрезал, – во всем, казалось мне, слышал я вопль души, отвергаемой миром и людьми, недовольной собою. Мне досадно даже было, что Аркадиев идеал женщины не походил на Мальвин и Миньон<sup>23</sup>, ибо в изображении хорошенького личика, которое писал и чертил везде Аркадий, уже наверное думал я видеть изображение идеальной его красавицы. Это изображение казалось мне слишком *мило* и очень *красиво* для идеала художника! Аркадий заставлял меня забывать о моей *степенности*, моих сорока годах: мне казалось, что я сам молодею, разогреваясь его юною, горячею головою... Какой несносный эгоист *человек*: он всегда видит *только себя*, глядясь в других... Что делать!..

Но как же досадно разочаровался я на другой день, увидев Аркадия! Совсем это не был молодой человек с греческим профилем Гете, германским профилем Шиллера, потухшими в борьбе сильных страстей глазами или невыносимую, на-

---

<sup>23</sup> ...не походил на Мальвин и Миньон... – См. примеч. к с. 144 и к с. 104.

полеоновскою бесцветностью глаз. В одежде его не было байроновской изысканности, ничего восточного; не было у него ни шиллеровских локонов, ни гофмановской дикости. Увидев меня, старый слуга спешил сказать обо мне Аркадию, и пока я ставил в угол свою палку, в переднюю вышел молодой человек, в модном сюртучке, с деланым галстуком на шее, с русыми, опрятно причесанными волосами; лицо его было благородно, правильно, но ничего особенного не выражало. Глаза его были, как говорится, *голубые*, то есть просто серые. Впрочем, глазами Аркадия я остался потом доволен: серый цвет их сбивался в голубой, и они оживлялись в разговоре. Аркадий был высок ростом, строен; только в движениях его не было ни простоты изящной природы, ни увлекательной изысканности светской, могущей заменять природу, как ассигнация заменяет звонкую монету. Отличительным признаком осанки и обхождения Аркадия была чрезвычайная неровность выражения в лице и в движениях: Аркадий то слишком казался веселым, то вдруг слишком задумывался; мне не понравилось еще, что он то и дело всчесывал рукою густые, длинные волосы на голове своей. Словом, Аркадий, при первом появлении, не сделал на меня никакого сильного впечатления: я видел перед собою обыкновенного молодого человека, обыкновенно одетого, и если бы кто-нибудь не сказал мне: «вот художник», — я ничего не подозревал бы в этом правильном, приятном лице, в этой простой улыбке, этом обыкновенном наряде. Ничего особенного не



выражал мне и голос Аркадия, приятный, но не заставлявший душу ни трепетать, ни радоваться. Особенно занятие, в каком застал я Аркадия, мне особенно не понравилось.

Он с улыбкою взял меня за руку и сказал:

– Конечно, я имею честь видеть г-на Мамаева?

«К чему такой пошлый вопрос?» – подумал я, готов был грубо отвечать и немедленно расстаться с Аркадием. Он спросил меня после сего об отце своем, но без всякого особенного чувства; наконец просил полюбить его и пожаловать в его гостиную. Тут нашел я толстую, богато одетую даму, ту самую, к чепчику которой Аркадий приставил ослиные уши. Дама сидела, надувшись, стараясь придать миловидное выражение своему толстому, брюзглому лицу. Портрет ее находился перед Аркадием, и он дополнял в нем некоторые черты, пристально разглядывая даму. Он просил меня извинить, что должен закончить при мне свою работу. Мужчина, худой и сухой, сидел и дремал в углу. Я просил Аркадия не беспокоиться, продолжать работу, и сел в другой угол, пристально рассматривая своего нового знакомого. Он весело работал, отрывисто, но вежливо разговаривал с дамою; улыбался на ее глупые ответы. Портрет этой дамы был превосходен. Ушей ослиных уже не было на нем – Аркадий закрыл их большими букетами и-бантами. Лицо, изображенное Аркадием, выражало всю глупость, все безобразие подлинника, но он придал ему что-то доброе, веселое, и дама была в восторге – портрет походил на нее чрезвычайно и не походил нисколько. «На-

смешник и льстец, обыкновенный ничтожный художник! – думал я. – Если ты поневоле принял на себя заказ написать эту глупую рожу, можешь ли ты быть так спокоен, так весел, услужлив? Вижу, что ты изрезал свою картину из жалкой робости, а не по сознанию недостигнутого идеала!» Нельзя было не отдать, однако ж, справедливости искусству Аркадия. Судя по портрету, кисть его была смелая, резкая, удивительно правильная. Занятие продолжалось с полчаса. Аркадий встал наконец и сказал, что портрет готов и завтра он пришлет его к ее превосходительству.

– Ах! покорно вас благодарю! – вскричала дама. – Только помните: соблюдайте мой секрет; ведь это будет сюрприз моей сестрице! А теперь позвольте же мне расплатиться. Эй, Яков Потапыч! Опять, батюшка, задремал! Проснись! Отдайте, сударь, деньги!

Сухой человек зевнул во весь рот, отсчитал не знаю сколько ассигнаций и подал Аркадию.

– Покорно вас благодарю, – начала опять дама.

– Ваше превосходительство обещали рекомендовать меня вашему дядюшке, – почтительно сказал ей Аркадий.

– О, непременно и охотно! – вскричала дама. Она и спутник ее пошли. Аркадий вежливо провожал их.

– Это генерал и генеральша W., – сказал он, воротясь. – Простые, но добрые люди! Генеральша готовит сюрприз сестре и тихонько приходит ко мне с своим мужем, хотя взбираться в третий этаж ей очень тяжело.

«За что же ты приставил ей ослиные уши, бессовестный! если они точно добрые люди?» – думал я про себя и решительно рассердился на Аркадия. Уже все теперь бесило меня: я досадовал, что он осторожно спрятал деньги в бюро, а не скомкал и не бросил их, что после того он учтиво сел подле меня и завел самый вздорный разговор. Как житель Петербурга он вздумал мне, приезжему провинциалу, говорить о новостях столицы, о новых зданиях. Недолго просидел я и с досадою ушел домой, повторяя; «Он не художник – он обыкновенный молодой человек, и живописец просто – искусный, но не поэт!»

Я был несправедлив к Аркадию. В наш век воины сняли железные брони свои и философы не ходят уже в изодранных лоскутьях какого-нибудь цинического плаща<sup>24</sup>. С чего же вздумалось мне искать наружного байронизма и гофманизма в Аркадии? Неужели художник и поэт должны отличаться от людей полусумасшедшим видом или странностью одежды? Наш век кажется веком бессильных страстей внутри, без резких отличий извне. Он весь одет однообразно, причесан, подвязан, ходит и говорит однообразно. Все воины наши в мундирах, чиновники в вицмундирах, не чиновники в темных фраках. Но тем глубже и пестрее внутреннее образование нашего века. Никогда не являлся человек столь

---

<sup>24</sup> ...философы не ходят уже в изодранных лоскутьях какого-нибудь цинического плаща. – Речь идет о представителях древнегреческой философской школы киников (циников). Выдвинув идеал духовной свободы, они с пренебрежением относились к жизненным удобствам.

знающим, столь страстным, столь высоким, как является он ныне. Все тихо, все однообразно в нынешнем обществе; но откуда же неслыханные, уродливые события, горячки умов, разрушительные страсти, какие сверкали и сверкают в мире в наше время? Мы отличны от стариков наших тем, что душа нынешнего человека потеряла самодовольство: он недоволен людьми, недоволен собою. Разочарованный в том, что совершенно увлекало его отцов, не должен ли нынешний человек укрываться в мнимую бездейственность и внешнюю однообразность и оттого впадать в ужасную неровность характера, то бросаемый страстью вне круга обыкновенной его жизни, то снова упдающий в нее? Наше поколение, как Наполеон, стоит сложив руки или нюхает табак, пока страшная битва – Ваграмское, Бородинское, Ватерлооское сражение – гремит в душе его. Он задумчиво смотрит в землю, как будто ищет чего-то потерянного праотцом Адамом. Найдет ли он? Не знаю; но – это глубокое озеро без истока, на дне его бездны, а поверхность тиха, и едва легкий ветерок пробежит по ней, всколышет ее легкими кругами – они расходятся, и снова озеро зеркально, светло и неподвижно. Нынешняя жизнь – роман, *первую* часть которого написал Август Лафонтен, а вторую еще дописывает Виктор Гюго.<sup>25</sup>

Аркадий явился ко мне на другой день. Несмотря на мою угрюмость, на предубеждение против него, я не мог в этот

---

<sup>25</sup> ...а вторую еще дописывает Виктор Гюго. – В Викторе Гюго (1802—1885) Полевой видел «полное и совершенное изображение французского романтизма».

раз не отдать справедливости ему в той нежности, с какою говорил он об отце своем, в той заботливости, с какою расспрашивал он обо всех подробностях житья его. С каким чувством говорил этот добрый сын о том, что он вскоре надеется сделать для отца своего что-нибудь полезное! Он молчал о братьях или отзывался почтительно. «Он скрывается от меня, – думал я, – не открою же и я ему, что знаю его гораздо лучше, нежели он полагает!» Аркадий мельком говорил о своих занятиях. Я также ничего не говорил ему о том, что видел в нем мой разрушенный идеал художника. «Он явно притворяется, – думал я, – или в самом деле отказывается от своего назначения и хочет улечься на прокрустово ложе<sup>26</sup> света, хотя бы привелось для этого отрубить ноги! Что же? Он думает, что я не стою признаний души его? Хорошо, и я не покажу ему своей души: я эгоист!»

Мы виделись потом еще несколько раз и каждый раз, невольно, становились искреннее друг с другом. Разговоры наши перестали оканчиваться ничтожными пустяками. Наконец я имел случай оказать Аркадию маленькую услугу. Однажды захожу к нему, застаю его в страшном беспокойстве и требую объяснения. Аркадий долго колебался и, краснея, сказал, что ему недостает несколько денег для одного весьма важного дела.

---

<sup>26</sup> *Прокрустово ложе* – в греч. мифологии ложе, на которое великан Прокруст насильно укладывал путников, обрубая ноги тем, кому оно было коротко, и вытягивая тех, кому оно было велико.

– Вот тысяча рублей, – сказал он, – а мне надобно две.

– Вот *другая*, – отвечал я, выняв бумажник и отсчитывая деньги.

Аркадий крепко пожал мою руку и с минуту ходил молча, в сильном движении. Через три дня он принес мне деньги и не благодарил меня: это мне понравилось, ибо я видел, что, сказав мне пошлую благодарность, он отделался бы ею; теперь, напротив, Аркадий сбросил с себя личину вежливого равнодушия, и в первый раз он понимал меня, а я его. В первый раз тогда между нами завязался разговор от души. Я обратил его на изящные искусства, и Аркадий не скрывался более. С жаром начал он говорить об упадке изящного в наше время, о средствах свести изящные художества с ложной дороги школьных условий, по которой ныне идут они. О многом спорил я, со многим соглашался, удивляясь необыкновенным познаниям Аркадия. Вдруг он схватил меня за руку и сказал:

– Простите меня, г-н Мамаев: я не знал вас. Я думал, что вижу в вас просто умного, доброго человека: теперь вижу в вас горячую душу, человека глубоко чувствующего, просвещенного. Вам доступно все прекрасное. Зачем вы скрывались от меня?

Слова эти были сказаны так добродушно, так просто, что я невольно улыбнулся:

– Зачем сами вы, любезный Аркадий, хотели спрятаться от меня под маскою ничтожного живописца и молодого пе-

тербургского щеголя?

– Я щеголь? Если бы вы прежде знали меня, то могли бы назвать немного сумасшедшим по наружности; с некоторого времени этот недостаток перестал быть моим недостатком. Я сделался благоразумен, осторожен, опрятен. Мой старый Семен Иванович не может теперь нахвалиться мною. Но, право, я совсем не щеголь, ни одеждою, ни обращением, ни душою.

– Аркадий! Я не того хотел от вас, чем вы хотите казаться.

– Чего же вы от меня требуете?

– Я хотел видеть в вас истинного художника, а видел только молодого портретиста, который так одет, так работает и говорит, что от него ничего ожидать не смеешь. Вы скрывались от меня? *Да* или *нет*? Если нет, то вы упали духом – вы пережили даже недовольство своего падения: вы уже спокойны, и это спокойствие есть тишина смерти!

Аркадий задумался. Лицо его изменилось.

– Что ж мне делать, когда этого хотят от меня судьба и люди, – сказал он тихо, – когда без этого счастье мое бежит от меня! Хочу удержаться хоть за него – со всем другим я простился: одно недостижимо, другое пусто. За чем гоняться мне? За призраком ничтожной славы? Но и его могу ли достигнуть? Кто уверит меня, что мне можно надеяться на силы свои... О, мой почтенный друг! зачем тревожите вы терзательные мечты, которые задушил – *усыпил* я, по крайней мере! – Аркадий схватил мою руку и сжал ее крепко обеими своими руками. Он был очарователен в это время. Таким

желал и надеялся я видеть его.

— Что заставляет вас принимать во мне столь сильное участие? — спросил он, растроганный до глубины души.

— Долго рассказывать, как родилось и усилилось мое к вам участие. Может быть, для этого надобно б было рассказать вам прежде всего собственную жизнь мою... Но, я клянусь вам, Аркадий, что во мне видите вы человека, который на себе испытал, как тяжело душе, как душно сердцу, если призвание наше в мире не исполняется! Годы безвозвратно погасили для меня все мои мечты, все мои надежды; но, смотря на вас, полного жизнью и надеждами, могу ли не думать о том, как грустно, как страшно кончить их ничтожным физическим бытием!

— И люди говорят о ничтожности и бесчувствии мира, если в нем жил ты, святая душа, второй отец мой! если судьба столкнула меня теперь на дороге жизни с новым другом и если мир украшен бытием создания, которое может заменить мне все вдохновения исчезнувшего века художеств... — Аркадий вдруг остановился. Насмешливая улыбка появилась на лице его. — Вы мечтатель, господин Мамаев, опасный мечтатель! С чего вы вздумали наводить на меня волшебное стекло вашего воображения? Вы обманываете себя, обманываете меня, и, клянусь богом, это бессовестно, стыдно! Зачем искать во мне того, чем не велят мне быть ни судьба, ни мир, ни люди? Кто я? Сын бедного чиновника, ничтожный *разночинец*, братья мои подьячие, мне надобно было сделать-



ся также подычим. Пришел ко мне такой же мечтатель, как вы, наговорил мне бог знает чего; я заслушался его и поссорился с миром и с судьбою. Чего не вытерпел я за то, что отказывался идти в гусиной веренице, которая тянется целыми поколениями от колыбели до гроба! Чего не вытерпел я от самого себя еще более, нежели от других! «Художник», «идеал» – вздор, вздор! Говорите «маляр» и «счастье»; да, *счастье на земле, без неба и идеалов!* Вот что я – и прекрасно, чудно хорошо. На что искать идеалов, если они не превзойдут существенности – милой, очаровательной, живой, дышащей жизнью? Я скован и счастлив. Что мне в воле, если она только губит и терзает меня! Вы изумитесь, мечтатели, как тихо и спокойно можно быть счастливым? Зачем нравится вам только бешеный водопад Ниагарский? Не лучше ли любоваться милым ручейком, который вьется и журчит между цветами? Вы презираете его? Но в вашем водопаде видна только мутная пена страстей, а в ручейке отражаются – и солнце, и небо, и тихие небесные звезды, и целый мир! Любезный, почтенный друг мой! Я изодрал мои глупые рисунки, над которыми просиживал ночи и бесполезно тратил жизнь мою; на других нелепых мечтах моих мирно плетет свои сети паук, и никогда не смету я с них паутины... Не надобно картин – не хочу писать их; пишу портреты, рожи людские, и пишу как ремесленник! Уверяю вас, что теперь только нашел я истинное счастье – мне так весело, спокойно – я так доволен... – Он судорожно сжал мою руку, и слезы

сверкнули на его глазах.

– Счастье ваше похоже на куклу, которою играет ребенок. Но вы насильно делаете себя ребенком, добровольно позволяете своему счастью пеленать вас, как дитя, и – я страшусь за вас, Аркадий! Не знаю, какой волшебный сон лелеет вас, но, друг мой, это мгновенный сон, а не жизнь: пробуждение ваше будет опасно; лучше бороться с судьбою, нежели позволить ей без сопротивления сковать себя...

– Нет! Мой сон прекрасен, как жизнь, и не прервется, – сказал Аркадий, с радостным самодовольством закрывая глаза рукою. – Его сам бог создал для меня!

– Аркадий! – сказал я с досадою. – Понимаю: вы влюблены? Угадал ли я?

Он затрепетал.

– Вы любите?

– И неужели я не любим? – спросил Аркадий с трепетом. – Почему же вы знаете, что я *не любим*? Нет, нет! За мою бешеную, безумную страсть, за то, что для нее отказался я от всего, от самого себя, ужасно было бы не Платить хотя участием, хотя снисхождением! А смею ли требовать более? За это снисхождение... мало жизни моей! Несносные женщины! Они везде вмешиваются и все портят! Так вот разгадка его бесчувствия! Он любит... Женщина *уничтожила* его... И дивиться ли после того чему-нибудь, если на жизнь он смотрит глазами женщины, а ей жизнь кажется занятием вроде хозяйства; она вяжет ее, как чулок, плетет ее, как кру-

жева, вышивает ее по канве, в размеренных квадратах...

– О нет! вы не знаете моей Вериньки, – сказал Аркадий. – Она не женщина: это чудное существо, залог мира между небом и землею! Она умела сделать из меня то, чего не сделали люди с их гордостью, их силою – чего не сделала дружба человека единственного! Она доказала мне невозможность неба на земле, но доказала, что и земля есть небо, если мы забудем для создания пленительного все-все, и самих себя, передаваясь ему! Ей пожертвовал я всеми мечтами... какая мечта сравнится с нею! Я бросил все свои ничтожные идеалы... какой идеал не бледен перед моею Веринькою! Она помирила меня с самим собою, она поведет меня тихо, нежно по остальному пути жизни. Так, я чувствую, что напрасно старается человек создавать и ищет на земле несбыточных образов – они уже созданы богом и живут на земле в душе женщины. Душа женщины – вот наше небо на земле, и в нем соединено все! Беден, кто не нашел его – блажен, кто его отыскал! Но тогда – во прах перед ним все страсти, все идеалы, или, как отверженного ангела, тебя изгонят из этого неба, где ничто не должно существовать, кроме душевной невинности!

Аркадий замолчал и начал ходить по комнате. Я прервал молчание, продолжавшееся несколько минут.

– Аркадий, – сказал я, – сердца наши сказались друг другу. Отныне мы с тобою друзья. Вот тебе рука моя, а кому я сам подаю ее, тот не спрашивай меня ни о чем более! За-

ключенная в минуту душевного бытия, отныне дружба моя к тебе неизменна. Друг мой! Мне сорок лет; жизнь моя была бурная, мятежная; я испытывал страсти, знал и любовь... Она знакома мне... Когда-нибудь я расскажу тебе все страдания, какие перенес я от этого яда жизни... Я трепещу за тебя: ты отравляешь себя медленной отравой! Я угадываю твою Вериньку: это какое-нибудь простое, доброе, милое создание, которое обольстило тебя колыбельною песенкою и усыпило твою пылкую душу тихим напевом ее! Не для тебя такое счастье: берегись! Душа женщины не рай, но раек. Ты на нее хочешь опереться, но эта опора ломка, как стекло, и, как стекло, изрежет тебя...

Аркадий быстро взглянул на меня:

– Да, я усыплен колыбельного песенкою, но эту песенку не человек напел мне, а что-то божественное. Узнайте Вериньку... Я боюсь показать ее вам: вы можете погибнуть, узнав, как близко от вас было счастье в жизни, а вы не знали его...

Я невольно улыбнулся. Аркадий как будто опомнился и поспешно взялся за шляпу.

– Ах! что я говорю! – сказал он. – Простите! Голова моя так расстроена от нашего разговора... Какая глупость: стараться ощупать руками свое счастье, как будто оно что-нибудь вещественное! Вы ощупаете одни вещественные его формы и никогда не узнаете его вполне... Вы подали мне вашу руку, благородный человек! позвольте мне пожать ее...

«Я тебя понимаю, юноша, – думал я, оставшись один, –

понимаю и сожалею о тебе: ты испугался бури, какая волнует океан души человека, и ты думаешь, что лучше причалить свой челнок близ тихого берега семейственной жизни и задремать под шум бешеных волн, нежели пускаться по кипящим их безднам! Горе тебе, если ты будешь счастлив, как счастливы все люди! Бедное счастье их есть дремота, произведенная маковым питьем; но твоя душа создана не для этой сладкой дремоты, а для жизни, и – горе, если ты пробудишься, когда будет уже поздно воротиться! Страсть художника не начинается усыплением души и не кончится семейственным бесчувствием, чем так дорожат люди для мелких уступок счастья, покупая его, как покупают они себе пищу и одежду. Допускаю страсти – даже любовь, – но не такая любовь, не такая страсть бывает вдохновением высокого. А кто знал, кто хотя предчувствовал это вдохновение, тому пробуждение хуже смерти!»

Увы! Аркадий вскоре сведал на опыте истину, которую я предугадывал и предвещал ему. Страшно пробудилась душа его, безжалостно оттолкнуло его от себя обольстительное, тихое упоение.

После нашего разговора прошло дней шесть. Аркадий не являлся ко мне. Недосуги мешали самому мне идти к нему. Воспользовавшись первым свободным вечером, я спешил к Аркадию. Семен Иваныч отворил мне двери. Он был печален.

– Где девался твой барин? Не болен ли он? – спросил я

поспешно.

– Нет, сударь, но бог знает, что с ним сделалось! Дня три тому он пошел со двора такой веселый, такой милый; воротился поздно, и я его не узнал – так был он бледен, расстроен. С тех пор он сидит запершись, никого не велит пускать к себе, почти ничего не делает и даже ничего не кушает.

– И мне нельзя его видеть?

– О нет! Вас он однажды навсегда приказал принимать, во всякое время!

Вхожу в гостиную. Бюро открыто, бумаги, книги разбросаны везде, все в страшном беспорядке. Аркадий был в своей мастерской. Тихонько отворил я дверь. Аркадий стоял посреди комнаты. Огромный, прекрасный портрет откупщика, которым в последнее время занимался Аркадий, был брошен на пол недоконченный. Кисти, палитры были раскиданы повсюду. Большая, вновь начатая картина поставлена была подле окна. Небритый, со включенными волосами, в старом шлафроке, стоял Аркадий, сложив руки и устремив неподвижные взоры на холст, где еще ничего нельзя было разобрать хорошенько. День вечерел; последние лучи солнца освещали комнату.

– Что с вами сделалось, Аркадий? – сказал я.

– Ничего! – отвечал он мрачно. – Это надобно было предвидеть прежде. Вы предугадали, вы предрекли мне то, чего не понимал, не предвидел я! Какая глупость! Мне надеяться быть счастливым? Думать, что я буду так же искусно выть,

как воеет эта стая волков, называемых *людьми*! Но чего же хотят они от меня? – говорил Аркадий с увеличивающимся жаром. – Они терзали меня, когда я хотел стать между ними самобытно; они терзают и теперь, когда я отказываюсь от самого себя! Они разрушали мир, какой создавал я сам себе. Они не дают мне местечка и в *своем* мире! Виноват ли я, что бог создал меня иначе, нежели их? Должно ли за это наказывать меня так бесчеловечно? Но я добровольно становился в ряды их, отрекался от всего, давал клятву быть их товарищем, таким же, как они, чем они хотят – глупцом, ремесленником, шутом, последним из них...

– Аркадий! что все это значит?

– Ничего! – сказал он, горько улыбаясь. – Они уничтожили высокий мир художника, разбили истукан изящного, которому молился он в Греции, отняли у искусства религиозную святость Средних веков и хохочут над тем, кто стремится в эти погибшие миры искусств! Он враг им, нынешним ремесленникам, и они все за одно против него; мстят ему, как человеку, отказывают ему, если он соглашается на бедное счастье людское, – боятся его, клеймят его позором и насмешкою...

– Но давно ли, Аркадий, давно ли вы были так счастливы?

– Был – да! *хотел быть*, хотел обмануть себя, если нельзя *быть* в самом деле. Мой обман открылся – счастье мое погибло... Не мне то счастье, которого я надеялся от людей! Они отказывают мне в этом счастье – отказывают, не хотят

его мне отдать! А чего не делал я, чем не угождал им? Боже великий! Сколько времени был я болваном, куклой их – и за что же другому это счастье? Если он глупец без притворства, почему я не могу притвориться глупцом? Во всю жизнь мою они не заметили бы между нами никакой разницы, не услышали бы ни одной жалобы, ни одного вздоха...

– Успокойтесь, Аркадий. Что такое случилось? Что за отчаяние? И как же не поспешить вам ко мне... Сердце друга согреет, оживит вас...

– Виноват, – сказал Аркадий тихо, – виноват; но – и она с ними за одно – и она! Веринька, Веринька! зачем же обольщала ты меня прежде? Зачем вдохнула в меня жизнь, когда я умирал... Тогда мне легче было бы погибнуть; но теперь тебе без меня, мне без тебя нет смерти – ты *моя, моя* – ты не вырвешься из объятий души моей; я умерщвлю тебя моим последним, смертным дыханием...

– Успокойтесь, Аркадий. Сядем, будем говорить благоразумно; разберем дело наше основательно. – Я посадил Аркадия. В изнеможении он опустил голову на грудь; руки его упали на колена. Бледный, измученный, он казался умирающим.

– Аркадий! стыдись: неужели своенравие, даже презрение ничтожной какой-нибудь девочки должно доводить до отчаяния мужа, человека...

– Кто сказал вам, что Веринька ничтожна? – вскричал с сердцем Аркадий. – Знаете ли вы ее, узнали ль вы ее свет-



люю, прекрасную душу? Проникнули ль вы в ее чудное, святое сердце? И она меня любит, знаю, что она живет, дышит только мною — она моя, моя — люди не отымут ее у меня — я принужу их — я вырву у них Вериньку мою! Они должны будут уступить ее мне, моей славе, моему имени! У нас нет Капитолия<sup>27</sup> — нет триумфа для художника; но когда общий восторг поставит меня выше всех... Посмотрите, что напишу я теперь... Вот, что готовил я... Как это было глупо, как это было пошло, ничтожно! Это Грез<sup>28</sup>, пачкун семейственных сцен, копеечного отчаяния, грошового счастья — ха, ха, ха! — Он сорвал покрывало с картины, которая стояла в стороне: я увидел превосходное изображение семейственной сцены. В старинной готической комнате, в германских одеждах, семейство занимается чтением: старик изображен дремлющим в старинных креслах, молодая девушка опускает занавеску, чтобы солнце не беспокоило его, молодая женщина останавливает детей, которые вбегают в комнату. Она указывает им на старика; взгляд на него превращает их шумную радость в благоговейное молчание; молодой человек держит в руке книгу, опускает ее, вглядывается, прислушивается: точно ли спит старик и надобно ли продолжать чтение или перестать?

Молча любовался я этою картиною — она была прелестна;

---

<sup>27</sup> *Капитолий* — один из семи римских холмов, где в древности находились крепость и храм; место торжественных церемоний.

<sup>28</sup> *Грёз* Жан Батист (1725—1805) — французский живописец-сентименталист.

выражение лиц, темный колорит, рембрандтовское освещение ее были превосходны. Она переносила зрителя в патриархальные времена Дюреров и Гольбейнов.<sup>29</sup>

– Вот, что готовил я, – продолжал Аркадий, – но это глупо в природе, глупо и в картине. Теперь я их ужасну моею кистию!.. Вот здесь, посмотрите, вот здесь я напишу им моего бешеного Прометея. Он изобразит им душу мою, прикованную не к Кавказу, а к этому неблагодарному, бесчувственному миру; не ворон будет клевать и терзать его, а несчастное, губительное чувство страсти безнадежной! О боже, боже! Они не люди будут, если не увидят следа крови моей и слез моих в красках, какими изображу я им моего Прометея, – если не отдадут мне после того Вериньки!

Аркадий заплакал, сел и закрыл лицо руками.

– Аркадий, – сказал я, – грустно смотреть на слезы мужчины: мужчина не должен плакать. Умри, но не плачь!

– Ах! мне еще хочется пожить на свете, в нем еще так много хорошего, так много прекрасного – в нем еще существует Веринька; она *не моя*, но и никому не принадлежит она. Дайте мне слез, позвольте мне плакать, друг неумолимый! И если бы вы знали, о чем я плачу! Не Вериньку – я теряю жизнь! Любовь к ней, любовь ее было все, что привязывало меня к жизни. С потерей Вериньки все связи мои с миром будут разорваны. Неужели хотите вы, безжалостный человек! что-

---

<sup>29</sup> Гольбейн (Хольбейн) Ханс Младший (1497 или 1498—1543) – немецкий художник.

бы и после этого я еще скитался по земле тенью безжизненной? Неужели думаете, что в моих созданиях будет жизнь, когда не будет ее во мне самом? Хорошо! Сделайте из меня привидение, машину, творящую великое и прекрасное; но каково же будет мне, привидению, созданному вами? Ведь я человек – пощадите меня – позвольте мне лучше умереть!

Как странна участь моя! Зачем надобно было юной душе моей соединиться с душою человека единственного, добродетельного, но оскорбленного миром, и людьми, и жизнью! Зачем этот человек исторг меня из ничтожества, в которое судьба поставила меня при рождении! Зачем он оставил меня после того в жертву оскорбленному мною миру! Зачем после него воскресило меня это милое создание, эта Веринька? Да, она поддержала во мне жизнь, готовую погаснуть; за то я хотел ей посвятить мое бытие – ничем более не мог я подарить ее, да я и не мог уже располагать собою: она воскресила меня, но потребовала себе душу мою – я отдавал ей – и этого нельзя мне сделать! Бедный человек! Люди становятся, как разбойники, между мною и Веринькою; она сама пугается, презирает меня, бежит от меня! Чего боятся они во мне! Разве не принимал я всех их условий – всех, но только с Веринькою – с нею; а без нее что мне в мире, в людях? На что я сам без Вериньки!

Я радовался, видя, что слезы и жалобы облегчают Аркадия, и не препятствовал ему плакать и жаловаться. Упрямое, молчаливое, одинокое отчаяние, три дня терзавшее его, те-

перь прошло. Он стал спокойнее. Тогда тихими, сердечными словами дружбы начал я врачевать его растерзанное сердце.

– Аркадий, друг мой! Ты еще так молод, – сказал я, – и уже думаешь, что жизнь совершенно рассчиталась с тобою. Мой друг! перед тобою она лежит еще необозримым полем горести и радости – да, мой друг, и радости! Знаю и уверен, что юность твоя была уже испытана скорбью, но радостей ты знал еще мало доньше. Благодарю лучше провидение, что при начале жизни оно искусило тебя и приготовило к будущим подвигам. Чувство любви в твои годы всесильно, всепоглощающе; но не одно оно объемлет жизнь и мир для человека, который чувствует в душе своей призвание к чему-либо высокому...

– Нет! – сказал Аркадий. – Для меня все погибло, если погибла любовь моя. Судьба весит в эти минуты жребий мой на весах своих, и если не бросит она любви в мою чашку весов – расчет кончен: Аркадию не существовать более! Тот век, когда художник мог быть художником, потому что не мог быть ничем другим, когда он мог совершенно, всем бытием своим, погрузиться в океан изящного – золотой век Дюреров и Крапахов<sup>30</sup>, Рафаэлей и Микеланджело<sup>31</sup> прошел и не возвратится. Мир забыл уже об этом веке, и художник может существовать ныне только вдохновением страстей: если

---

<sup>30</sup> *Крапах* Лукас Старший (1472—1553) – немецкий живописец и график.

<sup>31</sup> *Микеланджело* Буонарроти (1475—1564) – итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт.

мне нельзя существовать любовью — художник во мне исчезнет. Других страстей я не знаю: любовь только, одна любовь могла бы вознести меня к великому моему идеалу, назло веку нашему и людям! Выслушайте, добрый, почтенный друг мой!.. Вы должны узнать повесть моей души. Вам все я открою, и потом судите обо мне, судите меня...

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.